

Александр Куприн

Дознание



Александр Иванович Куприн

Дознание

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2471945

Аннотация

«Подпоручик Козловский задумчиво чертил на белой клеенке стола тонкий профиль женского лица со взбитой кверху гривкой и с воротником а la Мария Стюарт. Лежавшее перед ним предписание начальства коротко приказывало ему произвести немедленное дознание о краже пары голенищ и тридцати семи копеек деньгами, произведенной рядовым Мухаметом Байгузиным из запертого сундука, принадлежащего молодому солдату Венедикту Есипаке...»

Александр Иванович Куприн Дознание

Подпоручик Козловский задумчиво чертил на белой клеенке стола тонкий профиль женского лица со взбитой кверху гривкой и с воротником а la Мария Стюарт. Лежавшее перед ним предписание начальства коротко приказывало ему произвести немедленное дознание о краже пары голенищ и тридцати семи копеек деньгами, произведенной рядовым Мухаметом Байгузиным из запертого сундука, принадлежащего молодому солдату Венедикту Есипаке. Собранные по этому делу свидетели: фельдфебель Остапчук и ефрейтор Пискун, и вместе с ними рядовой Кучербаев, вызванный в качестве переводчика, помещались в хозяйской кухне, откуда их по одному впускал в комнату денщик подпоручика, сохранявший на лице приличное случаю – степенное и даже несколько высокомерное выражение.

Первым вошел фельдфебель Тарас Гаврилович Остапчук и тотчас же дал о себе знать учтивым покашливанием, для чего поднес ко рту фуражку, Тарас Гаврилович – «зуб» по уставной части, непоколебимый

авторитет для всего галунного начальства – пользовался в полку весьма широкою известностью. Под его опытным руководством сходили благополучно для роты смотры, парады и всякие инспекторские опросы, между тем как ротный командир проводил дни и ночи в изобретении финансовых мер против тех исполнительных листов, которые то и дело представляли на него в канцелярию полка бесчисленные кредиторы из полковых ростовщиков. Снаружи фельдфебель производил впечатление маленького, сильного крепыша с наклоном к сытой полноте, с квадратным красным лицом, на котором зорко и остро глядели узенькие глазки. Тарас Гаврилович был женат и в лагерное время после вечерней переключки пил чай с молоком и горячей булкой, сидя в полосатом халате перед своей палаткой. Он любил говорить с вольноопределяющимися своей роты о политике, причем всегда оставался при особом мнении, а несогласного назначал иногда на лишнее дежурство.

– Как... тебя... зовут? – спросил нерешительно Козловский.

Он еще и года не выслужил в полку и всегда запинаясь, если ему приходилось говорить «ты» такой заслуженной особе, как Тарас Гаврилович, у которого на груди висела большая серебряная медаль «За усердие» и левый рукав был расшит золотыми и серебря-

ными углами.

Опытный фельдфебель очень тонко и верно оценил замешательство молодого офицера и, несколько польщенный им, назвал себя с полной обстоятельностью.

– Расскажите... расскажите... кто там эту кражу совершил? Сапоги там какие-то, что ли? Черт знает что такое!

Черта он прибавил, чтобы хоть немного поддать своему тону уверенности. Фельдфебель выслушал его с видом усиленного внимания, вытянул вперед шею. Показание свое он начал неизбежным «так что».

– Так что, ваш бродь, сиюю я и переписываю наряд. Внезапно прибегают ко мне дежурный, этот самый, значит, Пискун, и докладывает: «Так и так, господин фельдфебель, в роте неблагополучно». – «Как так неблагополучно?» – «Точно так, говорит, у молодого солдатики сапоги украли и тридцать копеек денег». – «А зачем он, спрашиваю, сундука не заперал?» Потому что, ваш бродь, у них, у каждого, при сундучке замок должен находиться. «Точно так, говорит, он заперал, только у него взломали». – «Кто взломал? Как смели? Этта что за безобразия?» – «Не могу знать, господин фельдфебель». Тогда я пошел к ротному командиру и доложил: так и так, ваше высокоблагородие, и вот что случилось, а только меня в это время в

роте не было, потому что я ходил до оружейного мастера.

– Это все, что тебе известно?

– Точно так.

– Ну, а этот солдат, Байгузин, хороший он солдат?

Раньше его замечали в чем-нибудь?

Тарас Гаврилович потянул вперед подбородок, как будто бы воротник резал ему шею.

– Точно так, в прошлом году в бегах был три недели. Я полагаю, что эти татары – самая несообразная нация. Потому что они на луну молятся и ничего по-нашему не понимают. Я полагаю, ваш бродь, что их больше, татар то есть, ни в одном государстве не водится...

Тарас Гаврилович любил поговорить с образованным человеком. Козловский слушал молча и кусал ручку пера.

Благодаря недостатку служебного опыта он не мог ни собраться с духом, ни найти надлежащий, твердый тон, чтобы осадить политичного фельдфебеля. Наконец, заикаясь, он спросил, чтобы только что-нибудь сказать, и в то же время чувствуя, что Тарас Гаврилович понимает ненужность его вопроса:

– Ну, и что же теперь будут с Байгузиным делать?

Тарас Гаврилович ответил с самым благосклонным видом:

– Надо полагать, что Байгузина, ваш бродь, будут теперь пороть. Потому, ежели бы он в прошлом году не бегал, ну, тогда дело другого рода, а теперь я так полагаю, что его беспрременно выдерут. Потому как он штрафованный.

Козловский прочел ему дознание и дал для подписи. Тарас Гаврилович бойко и тщательно написал свое звание, имя, отчество и фамилию, потом перечел написанное, подумал и, неожиданно приделав под подписью закорючку, хитро и дружелюбно поглядел на офицера.

Затем вошел ефрейтор Пискун. Он еще не дорос до разбирания степени авторитетности начальства и потому одинаково пучил на всех глаза, стараясь говорить «громко, смело и притом всегда правду». От этого, уловив в вопросе начальника намек на положительный ответ, он кричал «точно так», а в противном случае – «никак нет».

– Так ты не знаешь, кто украл у молодого солдата Есипаки голенища?

Пискун закричал, что он не может знать.

– А может быть, это Байгузин сделал?

– Точно так, ваше благородие! – закричал Пискун радостным и уверенным голосом.

– Почему же ты так думаешь?

– Не могу знать, ваше благородие.

– Так ты, может быть, и не видал вовсе, как он крал-то?

– Никак нет, не видал. А когда солдаты пошли на ужин, то он все около нар вертелся. Я его спросил: «Чего ты здесь околачиваешься?» А он говорит: «Я хлеб свой ищу».

– Значит, ты самой кражи не видал?

– Не видал, ваше благородие.

– Да, может быть, кто-нибудь еще, кроме Байгузина, там был? Может быть, это вовсе и не он украл?

– Точно так, ваше благородие.

С ефрейтором Козловский чувствовал себя несравненно развязнее и потому, назвав его ослом, дал ему для подписи дознание.

Пискун долго пристраивался, громко сопя и высоко вывая кончик языка от усердия, и, наконец, вывел с громадным трудом: *ефре Спиридонь Пескуноу*.

Теперь Козловский понял, что все дело в конце концов сводилось к одному шаткому показанию дежурного по роте – Пискуна, который видел Байгузина околачивающимся во время ужина в казарме. Что же касается до молодого солдата Есипаки, то его еще раньше отправили в госпиталь, потому что он заболел трахомой.

Наконец денщик впустил обоих татар. Они вошли робко, с преувеличенною осторожностью ступая са-

погами, с которых кусками валилась на пол осенняя грязь, и остановились у самой двери. Козловский приказал им подойти ближе; они сделали еще по три шага, высоко поднимая ноги.

– Фамилии! – обратился к ним офицер.

Кучербаев очень бойко отчеканил свою фамилию, в которую входили и «оглы», и «гирей», и «мирза».

Байгузин молчал и глядел в землю.

– Скажи ему по-татарски, чтобы он назвал свою фамилию, – приказал Козловский переводчику.

Кучербаев повернулся к обвиняемому и что-то проговорил по-татарски ободряющим тоном.

Байгузин поднял глаза, поглядел на переводчика тем немигающим и печальным взглядом, каким смотрит на своего хозяина маленькая обезьянка, и проговорил быстро, хриплым и равнодушным голосом:

– Мухамет Байгузин.

– Точно так, ваше благородие, Мухамет Байгузин, – доложил переводчик.

– Спроси его, *взял* он у Есипаки голенища?

Подпоручик опять убедился в своей неопытности и малодушии, потому что из какого-то стыдливого и деликатного чувства не мог выговорить настоящее слово «украл».

Кучербаев снова повернулся и заговорил, на этот раз вопросительно и как будто бы с оттенком строго-

сти. Байгузин поднял на него глаза и опять промолчал. И на все вопросы он отвечал таким же печальным молчанием.

– Не хочет говорить, – объяснил переводчик.

Офицер встал, прошелся задумчиво взад и вперед по комнате и спросил:

– А по-русски он совсем ничего не понимает?

– Понимает, ваше благородие. Он даже говорить может. *Эй! Харандаш, карали минга*¹, – обратился он опять к Байгузину и заговорил по-татарски что-то длинное, на что Байгузин отвечал только своим обезьяньим взглядом. – Никак нет, ваше благородие, не хочет.

Наступило молчание; подпоручик еще раз прошелся из угла в угол и вдруг закричал со злостью на переводчика:

– Иди. Ты мне больше не нужен... Ступай, ступай!

Когда Кучербаев ушел, Козловский еще долго ходил из угла в угол вдоль своей единственной комнаты. В трудные минуты жизни он всегда прибегал к этому испытанному средству. И каждый раз, проходя мимо Байгузина, он сбоку, так, чтобы это было незаметно, рассматривал его. Этот защитник отечества был худ и мал, точно двенадцатилетний мальчик. Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволо-

¹ приятель, смотри на меня (*татарск.*)

сое, смешно и жалко выглядывало из непомерно широкой серой шинели с рукавами по колени, в которой Байгузин болтался, как горошина в стручке. Глаз его не было видно, потому что он их все время держал опущенными.

– Отчего ты не хочешь отвечать? – спросил подпоручик, остановившись перед солдатиком.

Татарин молчал, не поднимая глаз.

– Ну, чего же ты молчишь, братец? Вот про тебя говорят, что ты взял голенища. Так, может быть, это и не ты вовсе? А? Ну, говори же, взял ты или нет? А?

Не дождавшись ответа, Козловский опять принялся ходить. Осенний вечер быстро темнел, и все в комнате принимало скучный и серый оттенок. Углы совсем потонули в темноте, и Козловский с трудом различал понурую, неподвижную фигуру, мимо которой он каждый раз проходил. Подпоручик понимал, что если бы он так продолжал ходить весь вечер и всю ночь, вплоть до утра, то и понурая фигура продолжала бы так же неподвижно и молчаливо стоять на своем месте. Эта мысль была ему особенно тяжела и неприятна.

Стенные часы с гирьками быстро и глухо пробили одиннадцать часов, потом зашипели и, как будто бы в раздумье, прибавили еще три.

– Козловскому стало очень жаль этого ребенка в

большой солдатской шинели. Впрочем, это было почти неуловимое, странное и совсем новое чувство для Козловского, который не умел в нем разобраться. Как будто бы в жалкой пришибленности и беспомощности Байгузина был виноват не кто иной, как сам подпоручик Козловский. В чем заключалась эта вина, он не сумел бы ответить, но ему сделалось бы стыдно, если бы теперь кто-нибудь напомнил ему, что он недурен собой и ловко танцует, что его считают неглупым, что он выписывает толстый журнал и имеет связь с хорошенькой дамой.

Стало так темно, что Козловский уже не различал фигуры татарина. На печке заиграли длинные бледные пятна от восходившего молодого месяца.

– Послушай, Байгузин, – заговорил Козловский искренним, дружелюбным голосом, – бог ведь у нас у всех один. Ну, аллах, что ли, по-вашему? Так ведь надо правду говорить. А? Если не скажешь теперь, все равно потом узнают, и будет еще хуже. А сознаешься – все-таки не так. И я за тебя попрошу. Честное слово, уж я тебе говорю, что просить буду за тебя. Понимаешь, одно слово – аллах.

Опять в комнате сделалось тихо, и только часы стучали с настойчивым и скучным однообразием.

– Ну, Байгузин, я же тебя как человек прошу. Ну, просто, как человек, а не как начальник. Начальник йок.

Понимаешь? У тебя отец-то есть? А? Может быть, и иная есть? – прибавил он, вспомнив случайно, что по-татарски мать – инай.

Татарин молчал. Козловский прошелся по комнате, перетянул кверху гирьки часов и затем, подойдя к окну, стал глядеть с тоскливым сердцем в холодную темноту осенней ночи.

И вдруг он вздрогнул, услышав сзади себя хриплый и тонкий голос:

– Инай есть.

Козловский быстро обернулся. Он как раз в это время думал, что и у него есть инай, милая старушка инай, от которой он отделен пространством в полторы тысячи верст. Он вспомнил, что, в сущности, без нее он был совсем одинок в этом крае, где говорят ломаным русским языком и где он всегда чувствовал себя чужим; вспомнил ее теплую, ласковую и нежную заботу; вспомнил, что иногда, увлекаемый шумной, подчас безалаберной жизнью, он позабывал в продолжение месяцев отвечать на ее длинные, обстоятельные и нежные письма, в которых она неизменно поручала его покровительству царицы небесной.

Между подпоручиком и молчаливым татаринном вдруг возникла тонкая и нежная связь. Козловский решительно подошел к солдату и положил ему обе руки на плечи.

– Ну, послушай, голубчик, говори правду, украл ты или не украл эти голенища?

Байгузин потянул носом и повторил, точно эхо:

– Украл голенища.

– И тридцать семь копеек украл?

– Тридцать семь копеек украл.

Подпоручик вздохнул и опять зашагал по комнате. Теперь он уже сожалел, что начал разговор про «инай» и довел Байгузина до сознания. Раньше, по крайней мере, хоть не было ни одной прямой улики.

«Ну, околачивался он в казарме, и что же из того, что околачивался? И никто бы ничего не мог доказать. А теперь уж по одному чувству долга приходится его сознание записать. Да полно, долг ли это? А может быть, долг-то мой теперь в том и состоит, чтобы этого сознания не записывать? Ведь проникло же ему в душу какое-то хорошее чувство и даже, вероятнее всего, раскаяние. А его, как рецидивиста, уж непременно, непременно высекут. Разве это поможет? Вот и „инай“ у него тоже есть. И кроме того, долг – ведь это „тягучее понятие“, как говорит капитан Греббер. Ну, а если его еще раз будут допрашивать? Не могу же я входить с ним в соглашение, учить его обманывать начальство. И для какого черта только я про эту „инай“ вспомнил! Ах ты, бедняга, бедняга!. Я же тебе своим сочувствием беды наделал».

Козловский приказал татарину отправиться в казармы и прийти завтра ранним утром. До этого времени он надеялся обдумать все дело и остановиться на каком-нибудь мудром решении. Самым лучшим ему все-таки казалось обратиться к кому-нибудь из особенно симпатичных начальников и объяснить все подробности.

Поздно ночью, ложась в постель, он спросил у своего денщика, что, по его мнению, сделают с Байгузиным.

– Беспременно его выдерут, ваше благородие, – ответил денщик убежденным тоном. – Да как же его не драть, когда он у солдата последние голенища тащит? Солдат – человек богу обреченный... Где же это видно, чтобы у своего брата последние голенища воровать? Скаж-жите пожалуйста!..

Стояло ясное и слегка морозное осеннее утро. Трава, земля, крыши домов – все было покрыто тонким белым налетом инея; деревья казались тщательно напудренными.

Широкий казарменный двор, обнесенный со всех четырех сторон длинными деревянными строениями, кишел, точно муравейник, серыми солдатскими фигурами. Сначала казалось, что в этой муравьиной суете не было никакого порядка, но опытный взгляд уже мог заметить, как в четырех концах двора образовались

четыре кучки и как постепенно каждая из них развертывалась в длинный правильной строй. Последние запоздавшие люди торопливо бежали, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с сумками.

Через несколько минут роты одна за другой блеснули и звякнули ружьями и одна за другой вышли к самому центру двора, где стали лицами внутрь, в виде правильного четырехугольника, в середине которого осталась небольшая площадь, шагов около сорока в квадрате.

Небольшая кучка офицеров стояла в стороне, вокруг батальонного командира. Предметом разговора служил рядовой Байгузин, над которым должен был сегодня приводиться в исполнение приговор полкового суда.

Разговором больше всех завладел громадный рыжий офицер в толстой шинели солдатского сукна с бараньим воротником. Эта шинель имела свою историю и была известна в полку под двумя названиями: постового тулупа и бабушкина капота. Впрочем, никто так не называл этой шинели при самом владельце, потому что все побаивались его длинного и грязного языка. Он говорил, как всегда, грубо, с малорусским произношением, с широкими жестами, никогда не подходившими к смыслу разговора, с тем нелепым строением фразы, которое обличает бывшего семи-

нариста.

– Вот у нас в бурсе так действительно драли. Хочешь не хочешь, бывало, а в субботу снимай штаны! Так и говорили: «Правда твоя, миленький, правда, – а ну-ка ложись...» Коли виноват – в наказание, а не виноват – в поощрение.

– Ну, этому сильно, должно быть, достанется, – вставил батальонный командир, – солдаты воровства не прощают.

Рыжий офицер быстро повернулся в сторону батальонного с готовым возражением, но раздумал и замолчал.

К батальонному командиру подбежал сбоку фельдфебель и вполголоса доложил:

– Ваше высокоблагородие, ведут этого самого татарчонка.

Все обернулись назад. Живой четырехугольник вдруг зашевелился без всякой команды и затих. Офицеры поспешно пошли к ротам, застегивая на ходу перчатки.

Среди наступившей тишины резко слышались тяжелые шаги трех человек. Байгузин шел в середине между двумя конвойными. Он был все в той же непомерной шинели, заплатанной на спине кусками разных оттенков: рукава по-прежнему болтались по колено. Поля нахлобученной шапки опустились спереди

на кокарду, а сзади высоко поднялись, что придавало татарину еще более жалкий вид. Странное производил впечатление этот маленький, сгорбленный преступник, когда он остановился между двумя конвойными, посреди четырехсот вооруженных людей.

С тех пор как подпоручик Козловский прочел в приказе о назначении над Байгузиным телесного наказания, им овладели дикие и очень смешанные впечатления. Ему ничего не удалось сделать для Байгузина, потому что начальство на другой же день заторопило его с дознанием. Правда, помня данное татарину слово, он обратился к своему ротному командиру за советом, но потерпел полную неудачу. Ротный командир сначала удивился, потом расхохотался и, наконец, видя возрастающее волнение молодого офицера, заговорил о чем-то постороннем и отвлек его внимание. Теперь Козловский чувствовал себя не то что предателем, но ему казалось, будто он обманом вытянул у Байгузина признание в воровстве. «Ведь это, пожалуй, еще хуже, думал он, – растрогать человека воспоминанием о доме, о матери, да потом сразу и прихлопнуть». Сейчас, слушая рыжего офицера, он особенно сильно ненавидел его неприятную, грязную бороду, его тяжелую, грубую фигуру, замасленные косички его волос, торчавших сзади из-под шапки. Этот человек, по-видимому, с удовольствием

пришел на зрелище, виновником которого Козловский считал все-таки себя.

Батальонный командир вышел на середину батальона и, повернувшись задом к Байгузину, протяжно и резко закричал командные слова:

– Ша-ай! На кра-а...

Козловский вытащил до половины из ножен шашку, вздрогнул, точно от холода, и потом уже все время не переставал дрожать мелкою нервной дрожью. Батальонный скользнул глазами по строю и отрывисто крикнул:

– ...ул!..

Четырехугольник шевельнулся, отчетливо бряцнул два раза ружьями и замер.

– Адъютант, прочтите приговор полкового суда, – произнес батальонный своим твердым, ясным голосом.

Адъютант вышел на середину. Он совсем не умел ездить верхом, но подражал походке кавалерийских офицеров, раскачиваясь на ходу и наклоняясь вперед корпусом при каждом шаге.

Он читал с неправильными ударениями, неразборчиво и растягивая без надобности слова:

– Полковой суд N-ского пехотного полка в составе председателя, подполковника N., и членов такого-то и такого-то...

Байгузин по-прежнему, понурясь, стоял между двумя конвойными и лишь изредка обводил безучастным взглядом ряды солдат. Видно было, что он ни слова не слышал из того, что читалось, да и вряд ли хорошо сознавал, за что его собираются наказывать. Один раз только он шевельнулся, потянул носом и утерся рукавом шинели.

Козловский также не вникал в смысл приговора и вдруг вздрогнул, услышав свою фамилию. Это было в том месте, где говорилось о его дознании. Он сразу испытал такое чувство, как будто бы все мгновенно повернули к нему головы и тотчас же отвернулись. Его сердце испуганно забилось. Но это ему только показалось, потому что, кроме него, фамилии никто не слышал, и все одинаково равнодушно слушали, как адъютант однообразно и быстро отбарабанивал приговор. Адъютант кончил на том, что Байгузин приговаривается к наказанию розгами в размере ста ударов.

Батальонный командир скомандовал: «К ноге!» — и сделал знак головою доктору, который боязливо и вопросительно выглядывал из-за рядов. Доктор, молодой и серьезный человек, первый раз в жизни присутствовал при экзекуции. Теряясь и чувствуя себя точно связанным под сотнями уставленных на него глаз, он неловко вышел на середину батальона, бледный, с дрожащею нижнею челюстью. Когда Байгузину

приказали раздеться, татарин не сразу понял, и только когда ему повторили еще раз и показали знаками, что надо сделать, он медленно, неумелыми движениями расстегнул шинель и мундир. Доктор, избегая глядеть ему в глаза, с выражением брезгливого ужаса на лице, выслушал сердце и пульс и пожал в недоумении плечами. Он не заметил даже малейших следов обычного в этих случаях волнения. Очевидно было, что или Байгузин не понимал того, что с ним хотят делать, или его темный мозг и крепкие нервы не могли проникнуться ни стыдом, ни трусостью.

Доктор сказал несколько слов на ухо батальонному командиру и быстро, тем же неловким шагом ушел за строй. Откуда-то выскочили человек пять солдат и окружили Байгузина. Один из них, барабанщик, остался в стороне и, подняв кверху правую руку с палкой, глядел выжидательно на батальонного командира.

Татарин стал снимать шинель, но делал это очень медленно, так что выскочившие люди принуждены были помочь ему. Некоторое время он колебался, не зная, что делать с этой шинелью, наконец постлал ее аккуратно на землю и начал раздеваться. Тело у него было черное и до странного худое. У Козловского мелькнула мысль, что татарину, должно быть, очень холодно, и от этой мысли офицер задрожал еще сильнее.

Татарин стоял неподвижно. Хлопотавшие вокруг него солдаты стали ему показывать, что надо ложиться. Он медленно, неловко опустился на колени, касаясь руками земли, и лег на разостланную шинель. Один солдат, присев на корточки, стал держать его голову, другой сел ему на ноги. Третий, унтер-офицер, стал в стороне, чтобы считать удары, и только в это время Козловский заметил, что на земле у ног остальных двух, которые стали по бокам Байгузина, лежали связки красных гибких прутьев.

Батальонный командир кивнул головою, и барабанщик громко и часто забил дробь. Два солдата, стоявшие по бокам Байгузина, нерешительно глядели друг на друга; ни один из них не хотел нанести первый удар. Унтер-офицер подошел к ним и что-то сказал... Тогда стоявший по правую сторону, стиснув зубы, сделал ожесточенное лицо, взмахнул быстро розгами и так же быстро опустил их, нагнувшись всем телом вперед. Козловский услышал отрывистый свист прутьев, глухой удар и голос унтер-офицера, крикнувшего: «Раз!» Татарин слабо, точно удивленно, вскрикнул. Унтер-офицер скомандовал: «Два!» Стоявший слева солдат так же быстро взмахнул розгами и нагнулся. Татарин опять закричал, на этот раз громче, и в голосе его отозвалось страдание истязуемого молодого тела.

Козловский поглядел на стоявших рядом с ним солдат. Их однообразные серые лица были так же неподвижны и безучастны, как всегда они бывают в строю. Ни сожаления, ни любопытства, – никакой мысли нельзя было прочесть на этих каменных лицах. Подпоручик все время дрожал от холода и волнения; всего мучительнее было для него – не крики Байгузина, не сознание своего участия в наказании, а именно то, что татарин и вины своей, как видно, не понял, и за что его бьют – не знает толком; он пришел на службу, наслушавшись еще дома про нее всяких ужасов, уже заранее готовый к строгости и несправедливости. Первым его движением после сурового приема, оказанного ему ротой, казармой и начальством, было – бежать к родным белебеевским нивам. Его поймали и засадили в карцер. Потом он взял эти голенища. Из каких побуждений взял, для какой надобности, он не сумел бы рассказать даже самому близкому человеку: отцу или матери. И сам Козловский не так мучился бы, если бы наказывали сознательного, расчетливого вора или даже хоть совсем невинного человека, но только бы способного чувствовать весь позор публичных побоев.

Сто ударов были отсчитаны, барабанщик перестал бить, и вокруг Байгузина опять закопошились те же солдатики. Когда татарин встал и начал неловко за-

стегиваться, его глаза и глаза Козловского встретились, и опять, как и во время дознания, подпоручик почувствовал между собой и солдатом странную духовную связь.

Четырехугольник дрогнул, и его серые стены начали расходиться. Офицеры шли все вместе к казарменным воротам.

– Що ж, – говорил рыжий офицер в капоте, делая руками широкие, несуразные жесты, – разве это называется выдрать? У нас в бурсе, когда драли, так раньше розги в уксусе выпаривали... От, дали б мне того татарина, я б ему показал эти голенища! А то не дерут, а щекочут.

У Козловского вдруг что-то зашумело в голове, а перед глазами поплыл красный туман. Он заступил дорогу рыжему офицеру и с дрожью в голосе, чувствуя себя в эту минуту смешным и еще больше раздражаясь от такого сознания, закричал визгливо:

– Вы уже сказали раз эту гадость и... и... не трудитесь повторять!.. Все, что вы говорите, бесчеловечно и гнусно!

Рыжий офицер, глядя сверху вниз на своего неожиданного врага, пожал плечами.

– Вы, верно, молодой человек, нездоровы? Чего вы ко мне прицепились?

– Чего? – закричал визгливо Козловский. – Чего?.. А

того, что вы... что если вы сейчас же не замолчите...

Его уже тянули назад за руки встревоженные неожиданной ссорой офицеры, и он, вдруг закрыв лицо ладонями, разразился громкими рыданиями, сотрясаясь всем телом, точно плачущая женщина, и жестоко, до боли стыдась своих слез...

1894